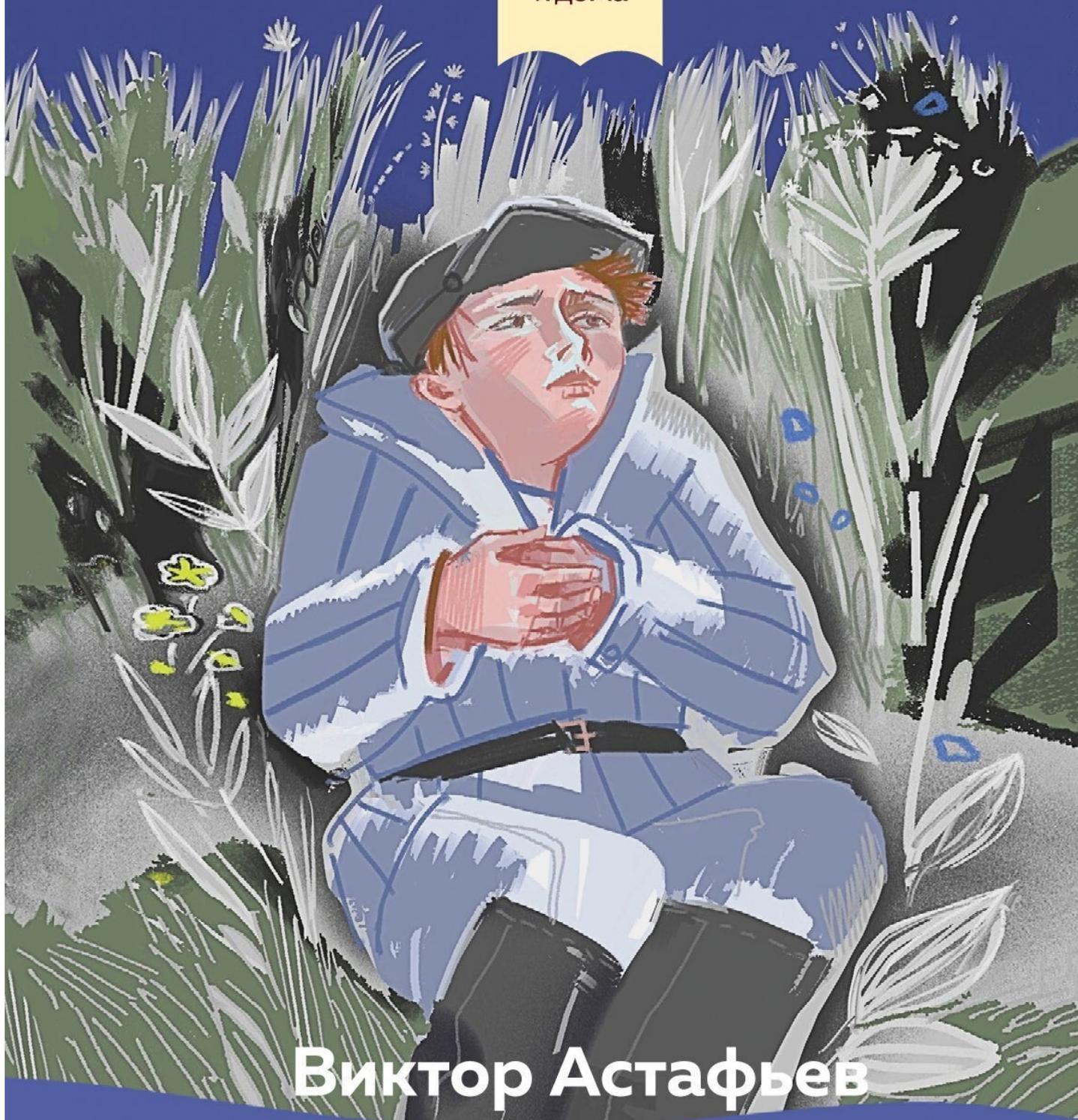




хорошие
КНИГИ
в школе
и дома



Виктор Астафьев

ВАСЮТКИНО ОЗЕРО

Хорошие книги в школе и дома (Внеклассное чтение)

Виктор Астафьев
Васюткино озеро

«ЭКСМО»

1955

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Астафьев В. П.

Васюткино озеро / В. П. Астафьев — «Эксмо»,
1955 — (Хорошие книги в школе и дома (Внеклассное чтение))

ISBN 978-5-04-175483-9

Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть всё, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. Васютка заблудился – и открыл новое озеро. Но какие усилия пришлось приложить мальчику, оказавшемуся один на один со стихией природы! Пришлось вспомнить все, чему учили старшие. Подключить смекалку, знания. И победить, да так, что открытое им озеро стали звать его именем – Васюткино. Рано или поздно ребенок сталкивается с миром природы, и оказывается, что жестокость порождает в ответ гнев природы. Но для того, кто приходит к ней с добром, она гостеприимна и дары ее безграничны. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок любил и знал природу – эта книга для вас.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175483-9

© Астафьев В. П., 1955
© Эксмо, 1955

Содержание

Васюткино озеро	6
Зачем я убил коростеля?	21
Белогрудка	23
Деревья растут для всех	26
Конь с розовой гривой	29
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро

© Астафьев В. П., наследники, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Васюткино озеро

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно.

Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки – озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное.

Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина – Васюткиного отца – совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину.

Холодная изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.

– Нету нам нынче фарту, – ворчал Васюткин дедушка, Афанасий. – Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как Бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время – ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать.

Спорить с дедушкой – дело бесполезное, потому никто с ним не связывался.

Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией.

Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения.

Васютка всегда немного робел перед своим большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.

– Шабаш, ребята! – сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. – Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря дойти.

Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки же, неводы, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.

Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили неводы, конопатили лодки, изготавливали якорницы, вязали, смолили.

Раз в сутки они проверяли переметы и спаренные сети – паромы, которые ставили вдали от берега.

Рыба в эти ловушки попадала ценная: осетр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называют в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по несколько центнеров.

Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиграть не с кем – нет товарищей, сходить некуда. Утешало одно: скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню.

Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет да и заглянет в них от скуки.

Вечерами в избушке становилосьлюдно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах.

Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедрь он обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, покуривает (он потихоньку таскал у рыбаков махорку), иногда из ружья пальнет.

...Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушел куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней. Потом засобирался по кедровые шишки.

Мать недовольно сказала:

– К ученью надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.

– Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером.

– «Охота, охота!» Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.

Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать.

Когда Васютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила:

– Ты от затесей далеко не отходи – сгинешь. Хлеба взял ли с собой?

– Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.

– Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал еще таежные законы переиначивать.

Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идешь в лес – бери еду, бери спички.

Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то еще придерется к чему-нибудь.

Весело насвистывая, шел он по тайге; следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором тукнет, потом еще. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу у дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.

Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, рано появилась у Васютки. Он еще долго думал бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой.

«Кра-кра-кра!..» – неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук.

Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков от роду.

– «Кра-кра!» – передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой.

Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра».

– Тьфу, ведьма проклятая! – выругался Васютка и пошел.

Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой:

– Эх и пакость же ты!

Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка – птица полезная: она разносит по тайге семена кедра.

Наконец Васютка облюбывал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз.

Васютка слез с дерева, собрал их в мешок и, не торопясь, закурил. Попыхивая сигаркой, оглядел окружающий лес и облюбывал еще один кедр.

«Обобью и этот, – решил он. – Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу».

Он тщательно заплевал сигарку, придавил ее каблуком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» – догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось.

Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрадись!

Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз на заливающую лаем собаку, а порой и поддразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет.

Васютка же, как назло, не позвал с собой Дружка. Обругав себя шепотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затыкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь!

...Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках. Мушка перестала плясать, кончик ее задел глухаря... Тр-рах! – и черная птица, хлопая крыльями, полетела в глубь леса.

«Ранил!» – встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарем.

Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя:

– Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с Дружка...

Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Глухарь слабел. Вот он уже, не в силах поднять грузное тело, побежал.

«Теперь все – догоню!» – уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко.

Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков очутился около глухаря и упал на него животом.

– Стоп, голубчик, стоп! – радостно бормотал Васютка. – Не уйдешь теперь! Ишь какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю – будь здоров!

Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь черными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке: «Килограммов пять будет, а то и полпуда, – прикинул он и сунул птицу в мешок. – Побегу, а то мамка наподдает по загривку».

Думая о своей удаче, Васютка, счастливый, шел по лесу, насвистывал, пел что на ум приходило.

Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть.

Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полу-голый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же. И все же от него веяло чем-то чужим...

Васютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.

– Ф-фу ты, черт! Где же затеси? – Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. – Все этот глухарина! Понесся, как леший, теперь вот думай, куда идти? – заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. – Ничего, сейчас посоображаю и найду дорогу. Та-ак... Почти голая сторона у ели – значит, в ту сторону север, а где ветвей больше – юг. Та-ак...

После этого Васютка попытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой – новые. Но этого-то он и не приметил, затеси и затеси.

– Эх, дубина!

Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух:

– Ладно, не робей. Найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает, мимо никак не пройдешь. Ну вот, все в порядке, а ты, судак, боялся! – хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: – Шагом арш! Эть, два!..

Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал...

В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук, – билось сердце. Потом напряженный до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далекого самолета. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птички. Опытный охотник – паук растянул над мертвой птичкой паутину. Паука уже нет – убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в нее сытая, крупная муха-плевок и бьется, бьется, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенета. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!

Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришел в себя.

Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто все получилось. Васютка еще не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто.

Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал в валежины вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», – отрешенно подумал он.

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод: Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему слова отца и бабушки. И он стал припоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дома. Пригодились спички.

Васютка обломал нижние сухие ветви у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучу и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул – вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налегло несколько комаров – веселее с ними.

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пенек. Вытащив из мешка краюшку хлеба, мальчик вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ошипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотнo закрыв ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.

Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах: глухарь упреп в собственном соку – охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус?! Васютка через силу глотал пресное мясо.

– Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу стоит! Что стоило горсточку в карман сыпануть? – укорял он себя.

Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:

– Живем!

Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь еще не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега.

Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, моху и лег, накрывшись телогрейкой.

Снизу подогревалось.

Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей – тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И все-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать!

Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер: да, крадется! Шаг, второй, шорох, вздох... Кто-то медленно и осторожно идет по моху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится.

Мальчик напряженно вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружье на это темное:

– Кто такой? А ну, подходи, не то садану картечью!

В ответ – ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» – мучается он и еще раз кричит:

– Я говорю, не прячься, а то хуже будет!

Тишина. Васютка рукавом утирает со лба пот и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета.

– Ох, окаянный! – облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. – Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этой чепухи.

Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру.

Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смола, темень начала редеть, прятаться в глубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, зашелкал, принялся чихать, словно сердился на волглую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха.

Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук – неизвестно. Может быть, робкий свист пичужки или легкий шум ветра в вершинах бородачатых елей и корявых лиственниц, может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень. Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки.

Солнце было уже высоко. Туман росой пал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду.

«Где это я?» – изумленно подумал Васютка и, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу.

По всему лесу озадаченно кричали кедровки на манер базарных торговки. Где-то по-детски заплакала желна. Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васютка встал, потянулся и вспугнул кормившуюся белку. Она, всполошенно цокая, пронеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, устала на Васютку.

– Ну, чего смотришь? Не узнала? – с улыбкой обратился к ней Васютка.

Белка пошевелила пушистым хвостиком.

– А я вот заблудился. Понесся сдуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревет... Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! – Он помолчал и махнул рукой: – Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!

Васютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликнулась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланили кедровки, неподалеку трудились дятел да пощелкивали капли росы, осыпаясь с деревьев.

Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, бросил на нее кепку и, поплевав на руки, полез на дерево.

Тайга... Тайга... Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным, темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проемы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.

Долго Васютка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря (лиственный лес обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глухой, угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием:

– Э-э-й, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..

Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо – кедровой шишкой в мох.

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он набрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове решался вопрос, один-единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо ляжки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься, а если идти на север, то километров через сотню лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру – это еще не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из леса, который загораживает свет и давит своей угрюмостью.

Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбухнет осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго.

Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли травы. Он прибавил шаг. Трава стала попадаться чаще, и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоемов. «Неужто впереди Енисей?» – с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше – мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет.

Впереди берег... Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озер! Губы Васютки задрожали: «Нет, неправда! Бывают болота возле Енисея тоже». Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты – и вот он на берегу.

Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое, унылое озеро, подернутое подле берега ряской.

Васютка лег на живот, отгреб рукой зеленую кашу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в нее зубами, навзрыд расплакался.

Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал много дров, развел огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве – тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придется.

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским побрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение. «Водоросли, наверно?»

Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками.

Столько рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы: щуки, там, сороги или окуня. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сегов. Это было удивительнее всего. В озере – белая рыба!

Васютка сдвинул свои густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-свиязей отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выделил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапами. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц.

Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.

– Ладно, завтра достану, – махнул рукой Васютка.

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они миготом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровавистое небо и с тревогой проговорил:

– Ветер завтра будет. А вдруг еще с дождем?

Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на пихтовые ветки и начал шелкать орехи.

Заря догорала. В потемневшем небе стыли редкие, неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки: «Вызвездило – к холоду!» – и на душе у него сделалось еще тревожнее.

Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи.

Васютка дальше Енисея еще никогда не бывал и видел только один город – Игарку.

А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб... может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!»

Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тайком. В школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает. Особенно грешат этим малыши – первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать такому ученику насчет вредности курева – он обижается; трубку отберут – ревет. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал.

– Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть... – думал Васютка вслух. – Весь бы табак вытряхнул...

Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные, перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. «Погасла звездочка – значит, жизнь чья-то оборвалась», – вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия.

Совсем горько стало Васютке.

«Может быть, увидели ее наши?» – подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.

Проснулся Васютка поздно от холода и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поежился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба, но озера эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если!..»

Да, если озеро проточное и из него вытекает река, она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался: Енисей, Енисей! – а увидел шиш болотный. Не-ет, уж лучше не думать.

Покончив с уткой, Васютка еще полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда все же взялась в озере речная рыба?»

– Тьфу, нечистая сила! – выругался Васютка. – Привязалась как банный лист. «Откуда? Откуда?» Ну, может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может... А, к лешакам все! – Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натываясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы.

Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, малозаросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом – отголоском озера.

– Вот это да! – ахнул Васютка. – Вот где рыбищи-то, наверно... Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. – И, подбадривая себя, он прибавил: – А что? И выйду! Вот пойду, пойду и...

Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошел ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел: «Неужто моя? Как же ее принесло сюда?!» Мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе. Да, это была утка-связь с окрашенной в вишневый цвет головкой.

– Моя! Моя! – в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. – Моя уточка! – Его даже лихорадить начало. – Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное!

И радостно и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники, продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш:

– А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!

Поднимался ветер.

Качнулись, закрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заволокло стаяей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.

Далеко впереди Васютка заметил уходящую в глубь тайги желтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озерная. Мерещится, и все», – засомневался Васютка, однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки.

Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие, обрывистые берега.

– Вот она речка! Теперь уж без обмана! – обрадовался Васютка.

Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе... он обессилеет и пропадет. Вон, с чего-то уже тошнит...

Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздь красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислоты и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой.

Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось. Васютка заметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой горбушки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось еще сильнее. Васютка выхватил краюшку из мешка, вцепился в нее зубами и, плохо разжевывая, съел всю.

Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям.

Когда он очнулся, на лес уже спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо, сделалось еще холоднее.

– Ну и зарядил, окаянный! – обругал Васютка дождь.

Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти донуга. Будто тоненькие пластики свеклы, на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и те не подавали голоса.

Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и локуток бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться между ладонями и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик черного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесемки и подвязал ими державшуюся на трех гвоздях подошву правого сапога.

Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.

«Гудок! – догадался Васютка. – Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А-а, понятно».

Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход.

В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на двести – триста от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду.

Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так

широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо.

– Енисеюшко! Славный, хороший... – шмыгал Васютка носом и размазывал грязным, пропахшим дымом рукавом слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.

Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нем мать, бабушка, отец, еды – сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь поплывет, а плавают в низовьях Енисея не часто.

Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотя сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится все больше и больше... Вот уже под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его? Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него еще темнее, а губы потрескались.

– Ну и дошел же ты, дружище! – покачал головой Васютка.

А что, если бы дольше пришлось бродить?

Пароход все приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда наконец это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:

– «Серго Орджоникидзе».

На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васютка заметался по берегу.

– Эй-эй, пристаньте! Возьмите меня! Эй-эй!.. Слушайте...

Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.

– Эх вы-ы, еще капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите...

Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска «капитаны» видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, – и все-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь.

Эта ночь была особенно длинной и тревожной. Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисею. То он слышал шлепанье весел, то стук моторки, то пароходные гудки.

Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: бут-бут-бут-бут... Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера-бота.

– Неужели дождался? – Васютка вскочил, протер глаза и закричал: – Стучит! – И опять прислушался и начал, приплясывая, напевать: – Бот стучит, стучит, стучит...

Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий, неуклюжий силуэт бота.

Васютка отчаянно закричал:

– На боте! Э-эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я. Э-эй! Дяденьки! Кто там живой? Э-эй, штурвальный!

Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх: бах! бах! бах!

– Кто стреляет? – раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.

– Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!

На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу.

Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.

– Дяденька, не уезжайте! – закричал он. – Возьмите меня! Возьмите!

От бота отошла шлюпка.

Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая:

– За-заблудился я-а, совсем заблудился-а... – Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился: – Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот-то! Вон вчера пароход только мелькнуул...

– Ты, малый, що, сказывся! – послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и по смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».

– Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька! – перестав плакать, заговорил мальчик.

– Який Васька?

– Да шадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?

– Тю-у! А як ты сюды попав?

И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал:

– Ай, скаженный хлопець! Та на що тобі той глухарь сдався? Во налякав ридну мати и батьку...

– Еще и дедушку...

Коляда затрясся от смеха:

– Ой, шоб тобі! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, де тебя вынесло?

– Не-е-е.

– Шестьдесят километров ниже вашего стану.

– Ну-у?!

– Оце тобі и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое.

Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имела в кубрике.

А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:

– Во, герой глухариный, спит соби, а батько з маткой с глузду зыхалы.

Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:

– На Песчаному острови и у Карасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.

– Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!

Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку sireны. Над рекой понесся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала.

На берег спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.

– Что это ты сегодня один-одинешенек? – спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.

– Не говори, паря, – уныло отозвался дед. – Беда у нас, ой беда! Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..

– Почему – был! Рано ты собрался его хоронить! Еще с правнуками понянчишься! – И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил: – Нашелся ваш пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.

– Чего это? – встрепенулся дед и выронил кiset, из которого зачерпывал трубкой табак. – Ты... ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васютка мог на боте взятсья?

– Правду говорю. На берегу мы его подобрали. Он там такую полундру устроил – все черти в болото спрятались!

– Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он?

– Цел. Старшина пошел его будить.

Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке:

– Анна! Анна! Нашелся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он...

В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну.

И вот Васютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стегаными одеялами, оленьей дохой да еще пуховой шалью повязали.

Лежит Васютка на топчане разомлевший, а мать и дедушка хлопчут около, простуду из него выгоняют. Мать натерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.

– Может, еще что-нибудь покушаешь, Васенька? – нежно, как у больного, спрашивала мать.

– Да, мам, некуда уж.

– А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!

– Если черничного, ложки две, пожалуй, войдет.

– Ешь, ешь!

– Эх ты, Васюха, Васюха! – гладил его по голове дедушка. – Как же ты сплеховал? Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука – вперед наука. Да-а, глухаря-то, говоришь, завалил все-таки? Дело! Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухряпаешь! Помяни мое слово!

– Ни боже мой! – возмутилась мать. – Ближе к избе вас с ружьем не подпущу. Гармошку, патефон покупайте, а ружья чтобы и духу не было!

– Пошли бабьи разговоры, – махнул рукой дедушка. – Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить?

Дед подмигнул Васютке, дескать, не обращай внимания, будет новое ружье – и весь сказ!

Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки.

Из леса, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шел Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой, черной щетиной, было мрачно.

– Напрасно все, – отрешенно махнул он рукой. – Нету, пропал парень...

– Нашелся... дома он...

Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:

– Ну, а зачем реветь? Нашелся – и хорошо. К чему мокрень-то разводить? Здоров он? – И, не дожидаясь ответа, направился к избушке.

Мать остановила его:

– Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже...

– Ладно, не учи!

Григорий Афанасьевич зашел в избушку, поставил в угол ружье, снял дождевик.

Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом.

Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.

– Ну, где ты тут, бродяга? – повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.

– Вот он я! – привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. – Укутала меня мамка, как девочку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап, – он притянул руку отца к своему лбу.

Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:

– Затараторил, варнак! У-у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот, попортил крови! Рассказывай, где тебя носило?

– Он все про озеро какое-то толкует, – заговорил дед Афанасий. – Рыбы, говорит, в нем видимо-невидимо.

– Рыбных озер мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадешь.

– А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.

– Речка, говоришь? – оживился Григорий Афанасьевич. – Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал?

Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним.

Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая за вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались встревоженные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, принаравливаясь к его шагу, и наговаривал:

– Они, гуси-то, ка-ак взлетят сразу все, я кэ-эк дам! Два на месте упали, а один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошел за ним: побоялся от речки отходить.

На Васюткины сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.

– И ведь я их влет саданул, гусей-то...

Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:

– А что? Влет еще лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!

– Не хвались! – заметил отец и покачал головой. – И в кого ты такой хвостун растешь? Беда!

– Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, – сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. – А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда!

– Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку и похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!

Васютка отстал от отца, дождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся катиться в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.

Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:

– Вот и озеро Васюткино...

С тех пор так и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.

Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов.

Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.

На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко, всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.

Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, которую именуют Васюткиным озером.

1952

Зачем я убил коростеля?

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже завалилась на бок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать – непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа.

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.

Я взял в руки птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу – это был коростель. Дергач по-нашему. Все другие его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края – зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки – в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы, нехитрая ли окраска, а может, и то и другое, и что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.

Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая несмышленного, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза...». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от губельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на ногу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями – мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц – небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает, все люди справ-

ляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас на Руси пекут жаворонков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навиделся. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?

Белоградка

Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, отголоском крупного села, уютится маленькая деревенька в три дома – Зуята.

Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор, видный за много десятков верст темным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, – и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мохом, бузиною и малинником.

Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надежно хоронит от худого глаза и загребуших рук жильцов своих – птиц, барсуков, белок, горностаев. Держатся здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный.

А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек – белоградкая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве. Изредка появляясь на опушке, Белоградка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни и, если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань.

На третье или четвертое лето Белоградка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска и, когда котят чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят.

Но как-то Белоградку выследили вереинские мальчишки, спустились за ней по косогору, притаились. Белоградка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли, – они ведь часто мимо косогора проходят, – вернулась к гнезду.

За ней следило несколько человеческих глаз. Белоградка не почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котяткам, и ни на что не могла обращать внимания. Белоградка лизнула каждого из детенышей в мордочку, дескать, я сейчас, мигом, и вымахнула из гнезда.

Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с елки на елку, с пихты на пихту, к озерам, потом к болоту, к большому болоту, за озером. Там она напала на простофилю-сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом.

Гнездо было пустое. Белоградка выронила из зубов добычу, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнезду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике.

Котят не было. Если бы Белоградка умела кричать – закричала бы.

Пропали котятка, исчезли.

Белоградка обследовала все по порядку и обнаружила, что вокруг ели топтались люди и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры.

К вечеру Белоградка точно выследила, что ее детенышей унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли.

До рассвета она металась возле дома: с крыши на забор, с забора на крышу. Часами сидела на черемухе, под окном, слушала – не запищат ли котятки.

Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дома, сердито кричал на нее. Белоградка комочком сжималась на черемухе.

Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и все гремел и бесновался пес во дворе.

Как-то Белоградка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решилась уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят.

Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки, стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, сказал:

– Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут.

Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чем-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в нее.

– Э, подох один.

Мальчишка взял котенка за лапку и кинул собаке. Вислоухий дворовый пес, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть, что дают, обнюхал котенка, повернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы.

В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пес, съевший котенка. Белогрудка бегала по забору и до того раздрадила дураковатую дворнягу, что та ринулась за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла.

Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась.

И долго не могли узнать люди – кто это разбойничает ночами на селе. Но Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днем и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы охали, старухи крестились, мужики ругались.

– Это ж сатана! Накликали напасть!

Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. Но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки.

Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда ее будто на поводе тянули.

Белогрудка еще не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнем и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и ушел. Здесь их нашла и прикончила лиса.

Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голубей, утят не только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже.

Попалась она в погребке. Открыв западную погребку, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела Белогрудку.

– Так вот ты где, сатана! – всплеснула она руками и бросилась ловить куницу. Все банки, кринки и чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу.

Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу.

Пришел хозяин. Он был охотник. И когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил:

– Ну и зря. Она не виновата. Ее обидели, осиротили. – И выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится.

Но Белогрудка принялась разбойничать пуше прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убивать куницу.

На огороде, возле парников, он увидел ее однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с мокрым, гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвилась из крапивы, вцепилась в горло собаки и умерла.

Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка.

До сих пор помнят в Вереино и в Зуятах Белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детеньшей зверушек и птиц.

Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сел, вблизи от жилья, на кругом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густого-

лосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же: «Вот если бы таких косогоров было побольше
возле наших сел и городов!»

1961

Деревья растут для всех

Во время половодья я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили – не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке, до сухой росохи, нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться, а я три раза повторил заученный от нее наговор: «Осина, осина, возьми мою дрожалку-трясину, дай мне леготу», – и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит, подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку душой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая «выходила на воду».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышинные норки да грибы поганки с тонкими шеями. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. «Я косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел-смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито ошипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по конопляне, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышимый дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом: шипица – дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельски, когти дьявольски – попробуй сунься, кошка!

В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» – маячила мне бабушка.

«Не скажу! Секрет!» – маячил я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев – усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

– Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

– Так вот ты где скрываешься! – сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. – Ма-атушка. – Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: – Осенью посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улице с ребятами соседа нашего – дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью – бабушка любила повторять, что кто ест луг, того Бог избавит от вечных мук, и таскала того «лугу» домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьей икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть: маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел!

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники – лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком – ер-егорка пал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом – ярусом висит, будто зипун с красным гарусом – розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова – товару всякого, и про всякое растение есть присказка или загадка, складная, ладная.

В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает и побежит.

Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок.

– Ну вот, – сказала бабушка, – глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца.

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

– Баб, а оно большое вырастет?

– Кто?

– Да дерево-то мое?

– А-а, дерево-то? А как же?! Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшко, растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

– И всем птичкам?

– И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна.

Конь с розовой гривой

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребята собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

– Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

– Конем, баба?

– Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник – совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса – потерял, – хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться – тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготовлял лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать – я точно не помню, – Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребята и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня – жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

– Кума! – испуганно-радостным голосом восклицала она. – Долг-от я принесла! – И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

– Да стой ты, чумовая! – окликала ее бабушка. – Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

– Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! – напускалась бабушка на соседку. – Мне рупь, другому рупь! Что же это получится?

Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

– Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами – ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, – он когда-то был моряком.

Приплыл по акияну
Из Африки матрос.
Малютку облизьяну
Он в ящике привез...

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и по-песенно – у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», – так и вижу Бобровский переулочек и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой, а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра...» Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия – ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, в распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует
Все ночи напролет
И песенку такую
О родине поет:
«На теплом-теплом юге,
на родине моей,
Живут, растут подруги
И нет совсем людей...»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой – сгреб вот какой-то пьяный охламон облизьянку, утащил ее с родины невесть зачем и на чё? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет... И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга – да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении:
– Зато как тятка шурунет нас – бегишь и не запнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканый топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

– Я, Петровна, свободу люблю! – и обводил рукою вокруг себя: – Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

– Нечего куски выглядывать, – гремела она. – Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане – вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

– Выдь отсюда! – строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: – Он сирота, а вы всешки при родителях! – И, жалостно глянув на меня, взрывал: – Мать-то ты хоть помнишь ли? – Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облакачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая: – Бадоги с ней по один год кололи-и-и! – И совсем уж разрыдавшись: – Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропадающая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня, и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда. Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек – чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшки без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремья луку-батуна, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького тuesка стакана на два-три. Бабушка говорила: главное в ягодах – закрыть дно посуды. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и подалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребята сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

– Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? – спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

– А-га-га-гаа! – запела Танька. – Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды – и в рот их, в рот.

– Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? – зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзывать и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

– Бабушки Петровны испугался! Эх ты! – закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

– Зато мне бабушка пряник конем купит!

– Может, кобылой? – усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул: – Скажи уж лучше – боишься ее и еще жадный!

– Я?

– Ты!

– Жадный?

– Жадный!

– А хочешь, все ягоды съем? – сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окроветелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

– Слабо! – сказал он.

– Мне слабо! – хорохорился я, искоса глядя в тuesок. Там было ягод уже выше середины. – Мне слабо?! – повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: – Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце – предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой – теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

– Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог – ничего лишнее не будет.

– Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика – пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забежали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька – его и нечистая сила не брала!

– Это еще чё! – хвалился Санька, воротившись из пещеры. – Я бы дальше побег, в глыбы побег ба, да босый я, там змеев гибель.

– Жмеев?! – Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

– Домовнику с ломовым видел, – продолжал рассказывать Санька.

– Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! – срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

– Дак тама какой домовый-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит – студено ему. А домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подмашишь, подойди только – схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось – вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

– Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! – заржал Санька. – Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно свели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!». Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

– Знаешь чё? – проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. – Ты в туес травы натолкай, сверху ягод – и готово дело! Ой, дитяtko мое! – принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. – Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. – И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат.

Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву – получилось земляники даже с копной.

– Дитяtko ты мое! – запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. – Восподь тебе пособил, восподь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

– А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

– Не надо, Санька!

– Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» – терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, покой «андельский» не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

– Ты чего там елозишь? – хрипло спросила из темноты бабушка. – В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

– Не-е, – откликнулся я. – Сон приснился...

– Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараюлю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла...

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек.

О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока одиночно. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

– Уплыла Петровна! – ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрепанные направо и налево – малые лезли под руку, путали леску.

– Крючка нету, – сердито буркнул он, – проглотил, должно, который-то.

– Помрет?

– Ништя-ак! – успокоил меня Санька. – Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

– Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшого дома не было. Его взял с собой «на бадogi» отец, и Санька командовал направлюю. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирлял «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и «с руки» закинул лески, чтобы дальше закинулось, – всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

– Ша! – вытарашил глаза Санька, и мы покорно замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он выташил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребяташки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! – заныли они скоро. – Уж изверилось! Са-ань!..»

– Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскорейча. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

– Понос у Витьки Катерининогo бывает. У нас не-эт.

– Я чё сказал?!

Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турысы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами: норвят огонь пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

– Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь...

– Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребяташки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки – отогреться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси – могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.